

Д. С. Мережковский

Мессия

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
М52

Мережковский Д.С.
М52 Мессия / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 162 с.

ISBN 978-5-4241-2334-4

Дмитрий Сергеевич Мережковский - известный русский и европейский поэт, писатель и философ Серебряного века. Один из основоположников русского символизма, он первым ввел в литературу жанр историософского романа.

ISBN 978-5-4241-2334-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Д.С. Мережковский, 2021

Дмитрий Сергеевич
Мережковский
Мессия

*Ты, Отец, в сердце моем,
и никто Тебя не знает – знаю
только я, Твой сын.
Ахенатон, царь Египта
От Египта воззвал
Я Сына Моего.
Осия. 11, 1*

Первая часть. Бунт

I

Тутанкамон – Тутанкатон, посол египетского царя Ахенатона, привез ему чудесный дар с острова Крита, плясунью Дио, жемчужину Царства Морей. Хвастал, что спас ее от смерти; но спас не он. Когда убила она бога Быка на Кносском ристалище, за подругу свою Эюю, принесенную в жертву Зверю, ее присудили сжечь на костре. Но Таммузадад, вавилонянин, любивший Дио, пошел за нее на костер, а Тутанкатон только укрыл ее на своем корабле и привез в Египет.

Прежде чем представить Дио царю в новой столице Египта, Ахенатоне – Городе Солнца, он поселил ее в загородном доме близ Нут-Амона, Фив, у дальнего родственника своего Хнумхотепа, бывшего главного надзирателя житниц Амонова храма.

Удлиненный четырехугольник высоких, как бы крепостных, кирпичных стен окружал поместье Хнумхотепа – скотные дворы, гумна, точила, сеновалы, житницы и прочие службы, а также виноградники и сады, разбитые на правильные четырехугольники – овощной, плодовый, цветочный, лиственный, хвойный, пальмовый – с тремя прудами: одним большим и двумя малыми. Два высоких, в три яруса, дома – зимний, весь кирпичный, и летний, с кирпичным низом и деревянным верхом, стояли друг против друга, на каждом конце большого пруда.

Здесь, в сельском загишье, провела Дио около двух месяцев, отдыхая от всего, что было с нею на Крите, и учась египетским пляскам.

Однажды, в середине зимы, в послеполуденный час, лежа на коврах и подушках на плоской крыше летнего дома, в легкой решетчатой сени с рядом точеных из кедра, узорчато-расписанных и раззолоченных столбиков, она смотрела на солнце в темно-темно, как бы черно-синем небе, таком бездонно-ясном, что казалось, никогда не было в нем и не могло быть облака. Солнце южной зимы – зимнего лета, яркое, но не ослепляющее, теплое, но не гжучее, было как детская улыбка сквозь сон. Полузакрыв глаза, она смотрела на него прямо, и свет его дробился, как слеза на ресницах, алмазною радугою.

«Ра Солнце, Солнце Ра, – лучшего слова для солнца не выдумаешь, чем Ра: Ра рассекает тьму мечом!» – думала Дио.

Мечом свистящего полета рассекали лучезарную тьму синевы зимние ласточки; пели солнцу, кричали, визжали от радости: «Ра!».

Радостно-благодно все. Благость и радость – в воздухе, таком сухом и чистом, как нигде в мире, дающем многолетие живым и нетление мертвым; таком боже-ственно-легком, что в первый раз им дышащему кажется, что камень, давивший ему грудь всю жизнь, вдруг упал, и только теперь узнал он, какая радость дышать.

Вон дерево-чудовище, все в шипах и колючках, с тускло-свинцовыми, жирными, точно налитыми ядом, суставами, с исполинским, кроваво-красным цветком – разинутой пастью змеи. Но и оно доброе: в благоуханьи цветка – сладость райская – радость Ра.

Вон, за слюдяною полоскою Нила, мелкого, зимнего, горы Аменти – Вечного Запада, в солнечно-розовой мгле млеющие, желтые, как львиная шерсть, исто-

ченная сотами гробов. Но и смерть здесь благодатна: души усопших, как пчелы, собирают мед смерти – вечную жизнь.

«А может быть, у нас на Иде-горе сейчас воет ветер, сосны скрипят, снег валит хлопьями», – подумала Дио, и еще синее сделалось небо, ярче – солнце: захотелось плакать от радости и целовать это небо, солнце, землю, как лица любимых после долгой разлуки.

Улыбалась знакомому чувству: смерть недаром прикоснулась к ней, когда она лежала на костре, готовую к закланию жертвою: как будто умерла тогда и теперь началась новая жизнь, после смерти: другое небо, другое солнце, другая земля – чужие? – о, нет, роднее родных!

Лежу я, больной от печали;
Врачи меня мудрые лечат.
Подходит любимая к ложу,
Смеется сестра над врачами:
Болезнь мою лютую знает! —

пел вполголоса человек лет тридцати, с женственно-тонким лицом, с большими, грустными, как у больного ребенка, глазами, с бритой, как у жрецов, головой, в белой льняной одежде и леопардовой шкуре, перекинутой через плечо, бывший жрец бога Амона, Пентаур, начальник храмовых певиц и плясуний, учивший Дио египетским пляскам.

Стоя на коленях, он едва прикоснулся концами пальцев к перекрещенным струнам высокой Амоновой арфы с пустым, для усиления звука, деревянным ящиком внизу, украшенным двумя радужными солнцами и головой бога Овна четверорогого.

Тихие звуки струн сопровождали тихую песню. Кончив одну, начал другую:

Каждый раз, как откроется
Дверь в доме сестры моей, —
Сестра моя сердится.
Быть бы мне привратником,
Пусть на меня она сердится:
Услыхал бы я голос ее,
Как дитя, испугался бы!

– И все? – спросила Дио, улыбаясь.

– Все, – ответил Пентаур, чуть-чуть краснея, как будто стыдясь своей слишком коротенькой песенки. Часто и легко краснел, как маленький мальчик: это было странно, почти смешно в тридцатилетнем человеке, но Дио нравилось.

– «Как дитя, испугался бы», – повторила она, уже без улыбки. – Да, почти ничего не сказано – и сказано все. Здесь, у вас, в Египте, любовь бессловесна, как небо безоблачно...

– Нет, есть и у нас длинные песни, но я их не так люблю: коротенькие лучше. Сильно ударил в струны и запел.

Ты для меня желаннее,
Чем хлеб – голодному,
Сила – немощному,
Крик младенца – рождающей! —

плакали струны страстно, почти грубо, как плачут люди от боли, жажды или голода. И вдруг, тонко-тонко, хитро:

Правду люблю, ненавижу лесть:

Лучше мне видеть тебя, чем пить и есть!

– «Любить – пить и есть», – удивилась она, задумалась. – Как грубо – грубо и нежно вместе! А только ведь и это лесть тончайшая...

– Почему лесть?

– Почему? Ах, брат мой, милый, тем-то жизнь и горька, что без воды и без хлеба люди умирают, а без любви живут...

– Нет, тоже умирают, – сказал он тихо и хотел еще что-то прибавить, но посмотрел на нее долго, молча, и грустные глаза его сделались еще грустнее. Опять покраснел и поспешил заговорить о другом:

– Пришло-ка я тебе плоильщика: вон перья не так лежат.

Протянул руку, чтобы поправить мелко плоенные на рукаве ее складки – «перья». Дио взяла его за руку. Он хотел ее отнять, но она удержала ее в своей почти насильно, – грубо и нежно вместе, и посмотрела ему в глаза, улыбаясь. Он отвернулся и уже не покраснел, а побледнел чуть заметно под бронзовой смуглостью кожи: «как дитя, испугался».

Так бывало при каждом свидании: прелесть ее, всегда новая, удивляла его, как чудо. О, это слишком стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос, и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе – «смешные усики!» Девушка, похожая на мальчика. Это – всегдашнее; а новое – что девушка вдруг не захотела быть мальчиком.

Отпустила руку его, тоже покраснела и заговорила о другом:

– Виноват не плоильщик, а я сама не умею носить – сразу видно, что не египтянка.

– Нет, не по одежде видно, а по лицу и волосам.

Она не носила парика и даже не заплетала волос в тугие косички, по здешнему обычаю.

– А Тута... Тутанкатон говорит, что мне лучше «колокол» идет.

«Колокол» была расширенная книзу юбка критских женщин.

– О, нет! Ты в нашей одежде еще больше... – начал он и не кончил; хотел сказать: «больше сестра», и не посмел: «сестра» по-египетски значит и «возлюбленная». – Еще прекраснее, – кончил он с холодной любезностью.

Оба говорили не о том, о чем думали; думали о важном, а говорили о пустом, как часто бывает, когда один уже любит, а другой еще не знает, полюбит ли.

Дио помнила обет девственных жриц Диктейской богини:

Лучше в петлю, чем на ложе

Ненавистное мужей!

Ненавистой казалась ей мужская любовь, как жаркое солнце – подводным цветам. Но вот, и в любви, как во всем: умерла, и началась другая жизнь, другая любовь – любовь сквозь смерть, как солнце сквозь воду, и подводным цветам не страшно; или как это зимнее солнце – детская улыбка сквозь сон.

– Когда едешь? – спросил он опять о самом важном как о пустом.

– Не знаю. Тута торопит, а мне и здесь хорошо...

Посмотрела на него, улыбнулась, и мальчик исчез, осталась только девушка.

– Хорошо с тобой, – прибавила так тихо, что он мог и не слышать.

– Уедешь, и больше никогда не увидимся, – сказал он, опустив глаза, как будто не слышал.

«Мальчик мой робкий, смешной – зимнее солнышко!» – подумала она с веселюю нежностью и сказала:

– Отчего никогда? Ахетатон от Фив недалеко.

– Нет, город *его* для нас – тот свет... «Его – царя Ахенатона», – поняла она.

– А ты на тот свет и со мной не хочешь? – спросила с лукавым вызовом.

– Зачем ты так говоришь, Дио? Ты же знаешь, что я не могу...

Не кончил, и она опять поняла: «Не могу переступить через веру отцов, через кровь отца». Знала, что отец его, старый жрец Амона, был убит в народном восстании против нового бога Атона.

Слезы задрожали в голосе его, когда он сказал «не могу»; но он заглушил их и заговорил спокойно:

– Не выходи сегодня из дому.

– А что?

Он подумал и сказал:

– Может быть бунт.

– Полно, какой у вас бунт! – рассмеялась она. – Вы, египтяне, самые мирные люди на свете.

Посмотрела на него как на маленького мальчика и спросила:

– И ты бунтовать пойдешь?

– Пойду, – ответил он все так же спокойно, но что-то блеснуло в глазах его, что опять напомнило ей, что отец его умер в бунте.

– Нет, не ходи, милый! – проговорила она с внезапной тревогой.

Он ничего не ответил и снова тихо запел, перебирая струны:

Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,

Ныне мне смерть, как выздоровление,

Ныне мне смерть, как дождь освежающий,

Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

– Ай-ай-ай! Что это? – закричала спавшая тут же, в беседке, девочка.

Сидя на верхушке дерева, маленькая ручная обезьянка ела какие-то желтые стручки и кидала шелуху в беседку, стараясь попасть в девочку или в спавшую у ног ее, тоже ручную, газель-сосунка. Долго не попадала. Наконец, повисла, уцепившись одною лапкой за ветку, а другою – кинула горсть шелухи и попала в газель. Та вскочила, заблела, подошла к девочке и лизнула ее языком в лицо.

Девочка тоже вскочила и закричала в испуге:

– Ай-ай-ай! Что это?

Ей было лет тринадцать. В тонком и гибком, как змейка, бронзово-смуглом телце, сквозившем сквозь призрачно-прозрачную ткань – «тканый воздух», странно сочетались ребенок и женщина. Бронзово-розовые кончики сосцов, уже крепко, по-девичьи, круглившись, подымали, точно пронзали, остриями ткань, а в глазах была еще детская шалость, и в толстых, точно надутых, губках – детская жалобность. Крошечным казалось под огромною шапкою тускло-черных, пушистых, синею пудрою напудренных волос личико, некрасивое, прелестное и опасное, как змеиная мордочка.

Мируит была одной из лучших плясуний, учениц Пентаура; на ее примере он учил Дио.

Заломила руки над головою, потянулась и сладко зевнула, все еще не понимая, что случилось. Вдруг новая горсть шелухи упала к ногам ее. Глянула вверх – поняла.

– А-а, чертовка голозадая! – закричала опять и, схватив глиняный кувшинчик из-под гранатовой наливки – напилась ею давеча, за полдником, оттого и уснула так сладко, – бросила его в обезьянку.

Та злобно зашипела, зашелкала зубами, – перескочила на соседнюю пальму и спряталась в листьях – только веера их сухо зашуршали.

– Что это, право, за наказание! Только что начнет что-нибудь хорошее сниться, непременно разбудят, – проворчала Мируит.

– А что тебе снилось? – спросила Дио.

– Мало ли что! Такое хорошее, что и сказать нельзя... Вдруг подошла к Дио, нагнулась и зашептала ей на ухо:

– О тебе. Будто ты меня... Нет, нельзя при нем, подслушает, выдерет за уши...

– Выдеру и так, егоза! Думаешь, не знаю, куда каждый день шляешься!

– Вот, спасибо, напомнил. Опоздала, опоздала! Ждет меня купец мой, ругается, а как раз обещал ожерелье. Мое-то вон как обшмыгалось, стыдно надеть.

– Скверная девчонка, распутная! – закричал на нее Пентаур с внезапной злобой. – Со псом нечистым снюхалась, с необрезанным!

– Пес, да кормилец, не свят, да богат, а из вашей святости похлебки не сваришь! – отгрызнулась девочка бойко и дерзко, подражая старым колотовкам на рынке. – Ни муки, ни крупы, ни пива, ни масти – вот уже пятый месяц, шутка сказать! Подвело нам животы на голодном пайке, отощали, как саранча на Соляных Озерах. Сытый бес крепче голодного бога, и чужой Вааль душу напитал, а свой Овен смирен, да не жирен!

– Ах ты, негодница! В яму захотела?

– В яму? Нет, господин, руки коротки! Времена нынче не те, чтобы в яму невинных сажать. Тронь только пальцем, убегу – не поймаешь! Я – вольная птица: где корм, там и дом.

Птицы Аравийские,

Миррой умащенные! —

запела она, закурила бубен над головой и побежала к лестнице. Газель, как собачонка, за нею.

На верхней ступени Мируит столкнулась с Дионой старою нянею, Зенрою, и едва не сшибла ее с ног.

– Ах, чтоб тебя, коза шалая! – выругалась та, подошла к Дио и подала ей письмо. Дио распечатала его и прочла:

«Еду завтра. Если хочешь со мною, будь готова. Сегодня, до захода солнца, мне надо тебя видеть. Буду ждать в Белом Доме. Пришли за тобою лодку. Да хранит тебя Атон. – Твой верный друг Тутанкатон».

– Посланный ждет. Что сказать? – спросила Зенра.

– Скажи, буду.

Когда Зенра ушла, Дио взглянула на Пентаура.

Как все жрицы Великой Матери, она была искусною врачихою; видала, как люди умирают, и помнила ту роковую печать – знак смерти, который иногда является на лицах перед близким концом.

Вдруг почудился ей этот знак на лице Пентаура. «Молод, здоров, никакой

опасности... Бунт? Нет, вздор!» – подумала, взгляделась – и знак исчез.

– Едешь? – спросил он тихо, но так твердо, что она поняла, что нельзя обманывать.

– Тута едет завтра, а я еще не знаю. Может быть, и не поеду...

– Поедешь. Сама хотела поскорей.

– Хотела, а вот, вдруг забоялась.

– Чего?

– Не знаю. На костре тогда не сгорела, а теперь – точно из одного огня в другой... Помнишь, ты мне говорил о царе...

– Не надо, Дио. Зачем? Ведь все равно поедешь...

– Нет, надо. Гаур, брат мой милый, если любишь меня, скажи все, что знаешь о нем. Я хочу знать все!

Взяла его за руку, и он уже ее не отнимал.

– Все равно поедешь, поедешь, – повторял уныло. – Любишь его, оттого и боишься; знаешь, что не уйдешь; как мотылек, летишь на огонь. В том огне не сгорела – в этом сгоришь...

Помолчал и спросил:

– К Птамозу пойдешь?

– Пойду непременно, без того не уеду.

– Ступай. Он все знает – лучше моего скажет.

Птамоз, первосвященник Амона, злейший враг царя Ахенатона, давно уже звал к себе Дио, но она все не шла и только теперь, перед отъездом, решила пойти.

– Что мне Птамоз? – продолжала она. – Я от тебя хочу знать. Ты прежде любил его, за что же теперь ненавидишь?

– Я не его ненавижу. Знаешь, Дио, мне иногда кажется... Он посмотрел на нее с тою улыбкою, с которою очень испуганные дети смотрят на взрослых.

– Ну, говори же, не бойся, я все пойму!

– Мне иногда кажется, что он – не совсем человек...

– Не совсем человек? – повторила она с удивлением: что-то было в лице и голосе его знающее, видящее.

– Есть такие куколки, – продолжал он, все так же улыбаясь, – дернешь за ниточку, пляшут. Вот и он так: сам ничего не делает, а кто-то за него. Не понимаешь? Может быть, когда увидишь, поймешь.

– А ты его часто видел?

– Часто. Вместе учились у гелиопольских жрецов. Он, я и Мерира, нынешний великий жрец Атона. Мне было тогда тринадцать, а царевичу четырнадцать. Очень был хорош собой, весь тихий-тихий, как бог, чье имя – «Тихое Сердце».

– Озирис?

– Да. Полюбил я его, как душу свою. Он часто уходил в пустыню молиться, а может быть, и так просто, побыть одному. Вот раз ушел и долго не возвращался. Искали, искали, думали, совсем пропал. Наконец, нашли у пастухов, на Ростийском поле, где пирамиды и Сфинкс – древний бог солнца, Атон. Лежал на песке, как мертвый, должно быть, после падучей – тогда у него и начались припадочки. А как привезли в город, я его не узнал: он и не он, точно двойник его, оборотень, или вот, как я давеча сказал: не совсем человек. Может быть, там, в пустыне, он в него и вошел...

- Кто он?
- Дух пустыни, Сэт.
- Дьявол?
- По-вашему, дьявол, а по-нашему, другой бог. Ну вот, с этого все и началось...
- Пстой, – перебила она. – Ты говоришь, Атон – древний бог?
- Древний, древнее Амона.
- И вы его чтите?
- Чтим, как всех богов: все боги – члены Единого.
- Из-за чего же спор?

– А ты думала, из-за этого? Полно, не такие мы дураки, чтобы не знать, что Амон и Атон – один бог. Лик Солнца видимый – Атон, сокровенный – Амон, но Солнце одно, один бог. Нет, спорят не Атон с Амоном, а Сэт с Озирисом. Сэт Озириса убил и растерзал: убить, растерзать хочет и святую землю Египта, тело Озириса. Для того и вошел в царя... Ты меня не слушаешь, Дио?

– Нет, слушаю. Но ты все говоришь о том, кто в него вошел, а сам-то, сам-то он кто? Или просто злодей?

– Нет, не злодей. В том-то и хитрость дьявола, что не в злодея вошел, а в святого. Погибает земля в войне братоубийственной, нивы запустели, житницы разграблены, кожа людей почернела, как печь, от жгучего голода, матери варят детей своих в пищу себе, и это все сделал он, святой. И хуже сделал: Бога убил. «Нет Сына, сказал, я – Сын!»

– Никогда, никогда он этого не говорил! – воскликнула Дио, и глаза ее загорелись таким огнем, как будто и в нее вошел Сэт. – «Не было Сына – Сын будет» – вот что он говорит. Был или будет, был или будет – в этом всё!

– Проклят, кто говорит: Сына не было! – сказал Пентаур и побледнел.

– Проклят, кто говорит: Сына не будет! – сказала Дио, тоже бледнея.

И оба замолчали – поняли, что прокляли друг друга.

Он закрыл лицо руками. Она подошла к нему и молча поцеловала его в голову, как мать целует больного ребенка. Вгляделась в лицо его, и вдруг опять почувдилось ей, как давеча, что на нем – знак смерти:

Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,

Ныне мне смерть, как выздоровление,

Ныне мне смерть, как дождь освежающий,

Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

II

Хнумхотеп был человек справедливый и богобоязненный.

Дио принял он в свой дом как родную, не потому, что ей покровительствовал могущественный вельможа, Тутанкатон, а потому, что сами боги покровительствуют изгнанникам. Будучи главным начальником Амоновых житниц, мог брать взятки, как брали все; но не брал. Когда святилище Амона закрыли и Хнумхотеп потерял свою должность, он мог получить другую, лучшую, если бы изменил вере отцов; но не изменил. Мог продавать, во время голода, за какую угодно цену хлеб из земель своих в Стране Озер, Миуэр, не потерпевших от засухи; но продавал его дешевле, чем всегда, и целую житницу роздал голодным. Так жил он, потому что помнил мудрость отцов: «Жив человек после смерти, и все дела его с ним»; помнил две чаши весов: на одной – сердце умершего, а на другой –

легчайшее перо богини Маат – Истины, и зоркое око бога Тота, Измерителя, следит за стрелкой весов.

В молодости он сомневался, не лучше ли краткий день жизни, чем темная вечность, и не правы ли те, кто говорит: «Умер человек – как пузырь на воде лопнул – ничего не осталось». Но к старости все больше узнавал – осязал, как рука осязает завернутый в ткань предмет, что там, за гробом, что-то есть, и так как никто не знает, что именно, то проще и умнее всего – верить, как верили отцы.

Хнумхотепу – Хнуму – было лет за шестьдесят, но он не считал себя стариком, надеясь исполнить меру человеческой жизни – сто десять лет.

Лет сорок назад начал себе строить «вечный дом» – гроб, на Горе Запада – Аменти, тоже по завету отцов: «Гроб себе готовь прекрасный и помни о нем во все дни жизни твоей, ибо не знаешь часа, когда придет смерть». Сорок лет рыл в скале глубокую пещеру-гробницу с подземными ходами и палатами, украшал ее, как брачный чертог, и собирал в ней душе своей, невесте, приданое. Делал все это весело, потому что сказано: «Гроб, ты сделан для праздника; ты вырыта, могила, для веселья».

В тот послеполуденный час, когда на плоской крыше Хнумова летнего дома беседовали Дио с Пентауром, – на другом конце большого пруда, у зимнего дома, в легкой, деревянной, на четырех столбиках, беседке сидел Хнум в резном из черного дерева кресле с кожаной подушкой и подножной скамьей, а рядом с ним, на низеньком складном стульце, – жена его, Нибитуя.

На обоих были одежды-рубахи; узкая, в обтяжку, длинная, по шиколку, на ней, а на нем – пошире и покороче; обе из белого, мелко плетеного льна, не слишком прозрачного, как пристойно людям пожилым; ноги босы: кирпичный пол беседки был устлан для теплоты циновками, и мальчик-слуга держал наготове папирусные лапотки.

Сняв парик с коротко подстриженных седых волос, Хнум повесил его рядом с собой на деревянный болванчик – мужчины снимали парики, как шапки; а на голове Нибитуи он возвышался, огромный, черный, глянцевиный, точно лакированный, с двумя, по бокам, толстыми, туго закрученными и закинутыми за уши жгутами, загибавшими тяжестью своею уши вперед, что придавало сморщенному личику старушки сходство с летучей мышью.

Хнум был так высок ростом, что маленькая Нибитуя казалась перед ним почти карлицей; прям, сух, костляв, с жестоким, точно из твердого коричневого дерева выточенным, угрюмым и как бы злым лицом; но когда он улыбался, оно становилось очень добрым.

В будни, с утра до вечера, хлопотала Нибитуя по хозяйству, в ткацких, швальнях, стряпущих и портомойнях, а в праздники, как сегодня – день лунного бога, Хонзу, – давала себе отдых за легким и в то же время богоугодным делом. На круглом, низеньком столике стояли перед ней два горшочка и две кошелки; из одной вынимала она мертвых жуков, жужелиц, бабочек, пчел, кузнечиков, вспарывала им брюшки кремневым ножиком и, зачерпнув из одного горшочка на костяную ложечку каплю аравийской камеди, а из другого – ливанской кедровой смолы, умащала покойничков; пеленала их в белые льняные пеленочки, как настоящие мумийки, и клала в другую кошелку. Все это делала проворно и ловко, как привычное женское рукоделье. В саду была песочная горка Аменти –